

РАФАЭЛЬ МУСТАФИН

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

Я увидел его на углу улиц Кирова и Парижской Коммуны. Прошу прощения – Московской и Сенной. Навстречу мне шел щуплый юноша в старомодном долгополом сюртуке, из-под которого выглядывала белоснежная сорочка... Черный шелковый бант на шее сбился немного в сторону. На бритой голове – бархатная татарская тюбетейка – такыя. Брови сурово сдвинуты. Взгляд пронзительный, воспаленный. Он шел торопливо и нервно, прижав острым локтем сверток с бумагами. На впалых щеках играл чахоточный румянец. Синевато-бледные губы беззвучно шевелились.

Веселой стайкой шли девушки в тугих обтягивающих джинсиках, розовощекие юнцы в спортивных вязаных шапочках и пестрых импортных куртках. Деловито семенили располневшие домохозяйки с тяжелыми, набитыми всякой снедью сумками и авоськами. Щеголеватый курсант в новенькой форме вел под руку курносую смеющуюся девчужку с распущенными волосами. А он просачивался сквозь толпу, как вода сквозь песок, не поднимая глаз, никого не задевая и не обращая на себя ничего внимания. Невысокий, зябко ссутулившийся, совсем мальчишка по сравнению с современными акселератами.

Город жил обычной напряженной жизнью. Заводы и фабрики выплюнули толпы отработавших дневную смену. На ходу выпрыгивая из трамваев и троллейбусов, спешили озабоченные мужчины и женщины. Помигал и вспыхнул красным глазом светофор. Косяк застоявшихся машин, как стадо разномастных бизонов, круто сорвался с места.

Он шагнул с тротуара в самую гущу мчащегося металла, в синий чад. Я с ужасом зажмурил глаза. Но не заскрежетали тормоза, не завывали санитарные сирены. Все так же, ничего не замечая вокруг, он пересек грохочущую, как горный поток, улицу и остановился на бетонной набережной Кабана возле нового здания Татарского академического театра. Запрокинув голову, долго смотрел на вечеряющее блекло-синее небо в белой пряже реверсивных следов. Вытащил из кармана смятую тетрадку и что-то записал в ней размашистой арабской вязью.

Набравшись духу, я подошел к нему. Он не ответил на мое неуверенное приветствие, даже головы не повернул. Все мои попытки заговорить разбивались о стеклянную стену отрешенности. И тогда я решил прибегнуть к паролю поэзии:

*Саз мой нежный и печальный,
слишком мало ты звучал.
Гасну я, и ты стареешь...
Как расстаться мне с тобой?*

*В клетке мира было тесно
птице сердца моего.
Создал бог ее веселой,
но мирской тщете чужой.*

(Пер. А. Ахматовой)

Черты его лица дрогнули. Медленно-медленно поднялись веки, губы тронула слабая улыбка. Я понял, что стихи доходят до его сознания.

*Надламывайся и гори,
тебе не внове, сердце.
Дороже целого творцу
надломленное сердце.*

(Пер. В. Тушиновой)

Словно тяжелобольной, приходящий в себя после длительного обморока, он поднял голову, повернулся. Но смотрел не на меня, а на шумную, пеструю, клокочущую, как кипящий котел, Казань. Я проследил за его взглядом и с удивлением обнаружил на месте серой громады Казэнерго покосившиеся развалюхи. Исчезла высотная гостиница “Татарстан”, а на площади Куйбышева (ныне — Тукая), по рельсовому кольцу, со скрежетом разворачивался допотопный трамвайный вагон бельгийского акционерного общества. По полноводному Булаку в сторону ярмарки Ташаяк плыли многочисленные лодки с гуляющими. Вдоль набережной катили лакированные пролетки, запряженные рысаками. Со скрипом проворачивались деревянные колеса тяжело груженных крестьянских подвод. У дощатого деревянного причала сидела вереница нищих, старух и увечных.

Взгляд его остановился на молодом крестьянине с умным и дерзким взглядом, лежавшем на одной из подвод. Сдвинув набекрень белую войлочную шляпу, парень что-то тихо напевал. Я прислушался. Уж не “Тафтиляу” ли на слова Тукая? Поэт слушал его серьезно, без улыбки, а в глазах темнела грусть.

— Прости меня, народ мой, — проговорил он еле слышно. — Прости за то, что не уберег себя, сжег дотла в своих стихах. Не о том жалею, что рано ушел из жизни. Не узнал по-настоящему счастья взаимной любви, не успел стать мужем и отцом. А о том, что самые лучшие творения унес с собой в могилу. Я один знаю, какие могучие силы клокотали в этой чахоточной груди. Какие великие мысли приходили в мою голову в бессонные ночи. Какой испепеляющий огонь полыхал в сердце... Прости меня, народ мой, что я не смог до конца воспользоваться тем даром, которым одарил меня творец. За то, что занес на бумагу лишь малую часть того, что мог и что было предназначено свыше...

— Но и то, что сделано, навеки обессмертило ваше имя, — неуклюже попытался я утешить его. — Пока жива татарская нация, жив язык, вас будут чтить и помнить...

Поэт криво усмехнулся, и я понял, что он знает себе настоящую цену и не нуждается в утешениях. Вдруг он закашлялся, торопливо вытащил платок и прижал к губам. На нем медленно расплылось темно-багровое пятно. Я растерянно оглянулся вокруг, лихорадочно соображая: что делать? Вызвать машину “Скорой помощи”? Поймать проходящее такси? Но когда я повернулся к нему, его уже не было...

В эту ночь я долго не мог заснуть. Ворочался с боку на бок, протяжно вздыхал, подходил к черному квадрату окна, где также ворочалась и вздыхала сырая весенняя ночь. Смотрел на пелену брюхатых туч, подсвеченных снизу мертвенным синеватым светом ртутных ламп. И все думал, думал... О том, как бездарно, впустую я транжирю лучшие годы своей жизни на ненужные разговоры, многочасовые заседания, бесполезную суету. Как похвалил однажды в печати средненькое произведение литературного босса и ни слова не вымолвил в защиту истинного таланта. Как трусливо промолчал на обсуждении явно конъюнктурной книги, хотя и понимал отлично, что издавать ее не следует. И как сам не раз подстраивался под очередное постановление...

Что же это было? Мираж, следствие переутомления? А может, это совесть моя, совесть всей нашей литературы появилась на миг, чтобы напомнить о высоком предназначении писателя, о долге литературы перед народом, перед прошлым, настоящим и будущим?